



Анти-Лукиан, или как не следует писать историю

Лидия Стародубцева

Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник.

– Харків: Майдан, 1998. – С. 22-40.

При використанні матеріалів статті обов'язковим є посилання на її автора з повним бібліографічним описом видання, у якому опубліковано статтю. Дана електронна копія статті може бути скопійована, роздрукована і передана будь-якій особі без обмежень права користування за обов'язкової наявності першої (даної) сторінки з повним бібліографічним описом статті. При повторному розміщенні статті у мережі Інтернет обов'язковим є посилання на сайт Східного інституту українознавства імені Ковальських.

Адреса редакції:

Східний інститут українознавства імені Ковальських («Схід/Захід»), ауд. 4–87,
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
пл. Свободи, 6,
Харків, 61077,
Україна.

E-mail: siu.kharkiv@gmail.com

Тел.: +38 057 705 26 30;
+38 096 1555 136

Веб-сайт: <http://keui.univer.kharkov.ua>

- © Східний інститут українознавства імені Ковальських
- © Автор статті
- © Оригінал-макет та художнє оформлення – зазначене у бібліографічному описі видавництва
- © Ідея та створення електронного архіву часопису – А. М. Домановський



Лидия Стародубцева

**АНТИ-ЛУКИАН,
ИЛИ КАК
НЕ СЛЕДУЕТ
ПИСАТЬ ИСТОРИЮ**

История — это учитель, потому что
учит нас, что ее не существует.

*Умберто Эко*¹

1.

Как известно, лет две тысячи тому назад, а точнее во 2 в. по Р.Х., в античном мире все “помешались на истории”. Тому было множество уважительных причин: война с варварами, множество захватывающих воображение побед и поражений, войны Марка Аврелия против парфян — впрочем, не в этом суть дела. А суть дела в том, что все, кому не лень, тогда вдруг стали сочинять исторические трактаты, или, как сетовал один греческий сатирик, внезапно “все стали Фукидидами, Геродотами и Ксенофонтами ... нет человека, который бы не писал истории”.²

Этот греческий сатирик был не кто иной как Лукиан, весьма иронично относившийся к историческому буму и жестоко высмеивавший новоявленных историков. Очевидно, именно поэтому он и сочинил трактат о том, “*Как следует писать историю*”. Цель автора была вполне резонной: описать, “как строить здание истории, пользуясь установленным размером”³ (этот размер, разумеется, был установлен не самим Лукианом, а классиками, и, стало быть, представлялся чем-то вроде образца вневременного совершенства), а также дать всем желающим заняться историческими сочинениями множество полезных советов, преследующих двойную задачу: что именно избирать, а чего избегать:

◊ чего должен избегать пишущий историю,

- ◇ от чего прежде всего должен освободиться,
- ◇ что должен делать, чтобы не уклониться с прямого и кратчайшего пути,
- ◇ как следует начать,
- ◇ в каком порядке расположить события,
- ◇ как во всем соблюдать меру,
- ◇ о чем умалчивать,
- ◇ на чем останавливаться,
- ◇ о чем лучше упомянуть лишь вскользь,
- ◇ и как все это уложить и связать одно с другим.⁴

“Как писать историю” Лукиана — вероятно, одно из первых блистательных произведений, где во имя высокой “*правды истории*” предлагается набор приемов исторического обмана. “*Обмана*” в хорошем смысле, т.е. искусства.⁵ Искусства осознанного отбора и толкования исторических фактов. Обман искусства Клио коварен и впечатляющ: история, имея дело с прошедшим временем, повествует “о том, чего нет”. Стало быть, “*историческая истина*” не может быть верифицирована, как и ретроспективная панорама человечества в целом не может подлежать “опытной” проверке. Историческая “*правда*” — не в самом факте, но в его значении, толковании познающим сознанием. В этом методологически тонком моменте кроется всегдашняя опасность исторических мистификаций: мы живем в “вымышленной” истории, а наше “историческое самосознание” то и дело грозит повиснуть в пустоте над зыбкостью океана исторического забвения.

Может, поэтому вопрос “как следует писать историю?” со времен Лукиана не утрачивал своего значения для культур, пытавшихся заглянуть в прошлое, чтобы познать самое себя, да и в наши дни звучит заманчиво недоответченным. Сколь бы исчерпывающим ни казался частный ответ на него в ту или иную эпоху, вопрос этот — узел неразвязываемый — был и остается одним из числа принципиально безответных с точки зрения транскультурной, при взгляде с дистанции “большого времени” макроистории человечества.

2.

Спустя почти полтора тысячелетия для произведений, подобных лукиановскому, и в целом для обозначения теории исторического знания появится и собственный, к сожалению, несправедливо сегодня забытый термин “*историка*” (Historik). Автор термина — историограф XVII века Фосиус — понимая под историкой “*органическую дисциплину... искусство писать историю*”,

ввел термин по аналогии с поэтикой: “историку следует отличать от истории так же точно, как отличают поэтику от поэзии, так как обе излагают правила: историка — для составления истории, поэтика — для поэзии”.⁶

За три столетия бытования в области теории истории познания понятие “историка” вмещало множество различных значений: от “манеры” (*La maniere de écrire l'histoire*) до эвристики, методики, логики, философии исторического исследования. По словам наиболее ревностных апологетов, историка даже брала на себя задачу стать “органом исторического мышления”, общим учением об историческом процессе, служащим для “выяснения того, как добывается познание прошлого и при соблюдении каких условий оно может быть действительно научным” (Хладениус, Л.Рис, И.Г.Дройзен, Р.Виппер, Н.Кареев).⁷

Не следует забывать, что основной всплеск работ по “историке” пришелся на вторую половину XIX — начало XX века,⁸ время все еще продолжавшегося господства в сфере гуманитарных наук позитивистского и саентистского духа. Может, отсюда — кажущиеся сегодня несколько наивными претензии тогдашней историки на научность, объективность. О какой строго научной последовательности историки может идти речь? Древние были правы: “*Historia est magistra vitae*”, история — учительница жизни. Но и так же изменчива, как сама жизнь. И как сама жизнь, не укладывается в прокрустово ложе научных теорий.

Тысячу лет языческую античность поносят, а последующие пятьсот лет боготворят. Грубая и “варварская” (с точки зрения Ренессанса и Просвещения) готика у романтиков и прерафаэлитов становится объектом культового поклонения. То, что еще вчера виделось “безвкусной эклектикой”, “вырождением” и “декадансом рубежа XIX—XX ст.”, спустя сто лет объявляется эпохой утонченного и рафинированного культурного взлета. О политических и идеологических деформациях, подменах и подтасовках истории уж и говорить не приходится.

Историка — не нормативная, официальная поэтика истории, сфера ее влияния охватывает дорефлективное и неосознанное. Правила сочинения истории могут внушаться исподволь, помимо воли автора, на уровне “привычек сознания”. Историка всякий раз не то чтобы диктует, но скорее нашептывает исследователю, каким должно быть его изображение прошлого: монументально-величественным, антикварным, критическим, создающим иллюзию разумности, хаотическим и т.д.

В конце XX века навевянные волной постмодерна настроения пассаизма, ностальгического историцизма, эклектики и всеядного приятия прошлого в

целом не могли не изменить “чувства истории”. Если бы “историка” продолжила сегодня свое существование, она, скорее всего, отказалась бы от претензий на научность, стала бы чуть более раскованной, чуть более свободной. И при этом — до неузнаваемости бы ухудшила свой характер, все более склоняясь в соответствии с “духом времени” в сторону нигилизма, субъективизма и иррационализма. Да и именовать бы себя стала скромнее, скажем, так: “*искусствам видения прошлого*”.

“Историка” или, в буквальном смысле, “*наука о том, как писать историю*” вообще, видимо, имеет значительно больше шансов именоваться “*искусствам*” или, на худой конец, “ремеслом-умением”, ибо, во-первых, чисто этимологически понятие восходит к латинскому “*ars historica*”, а во-вторых, сама история имеет немало сходства с художественным творчеством: она оперирует не только понятиями, но и образами, и не меньше, чем поэзия, нуждается в интуиции и вдохновении.

История для историка — то же, что искусство для художника: благодарение и жертвоприношение, средство самовыражения и “удвоения мира”, способ бегства в иллюзорную действительность. Что же говорить о “правилах” сочинения истории? Эти правила непрерывно меняются и нарушаются. К тому же, слишком уж субъективно-размытыми, вольно-поэтическими оказываются в ту или иную эпоху критерии, в соответствии с которыми выдаются рецепты и советы историкам: “о чем умалчивать”, “как располагать”, и “о чем лучше упоминать лишь вскользь”.

3.

Оглянемся в прошлое. Античную “историю” писал Миф. Она была наивной, подробной, описательной, “*бесконечной, ибо безначальной*”, фактологичной и уж очень “безысходной”: в магии орбиты этого внеисторического кружения событий конец приводил к началу. Со времен Блаженного Августина “историю” писала Церковь. “Смысл” обретшей начало и конец “истории” был вынесен за ее пределы, в трансцендентную точку схождения метафизической перспективы. Дальнейшее в судьбе историка исчерпывалось, в основном, двумя ориентирами: либо переименовыванием точки схождения этой перспективы высшего смысла истории, либо рефлексией по поводу его утраты. По обоим путям, разрываясь между рациональным и иррациональным, шла Наука, которая взяла на себя обязанность писать “историю” в течение нескольких последних столетий.

А теперь? Осмелимся предположить, что с тех пор, как историю стали писать, собственно, “ученые” — историки, “*история историков*” подошла к концу. “Кризис” в переводе с греческого — приговор. Одна из причин внутреннего “кризиса” историки — в ее “приговоренности к самой себе” и вместе с тем — несамодостаточности.

Ведь “историческому знанию” вообще и в последние несколько столетий, в частности, оказывалось недостаточно самого себя для самоосмысления и самообъяснения: для этого требовались Поэт, Философ, Пророк, а также Ученый, Политик, Юрист, Дипломат, вскоре — Социолог, Этнограф, Культуролог. Так или иначе, все это время История преимущественно заимствовала извне системы самооценки, не всегда находя внутри себя достаточно прочные основания для составления “правил собственного написания” и обращаясь за помощью к иным сферам культуры.

Если правила игры составляют сами игроки, к тому же меняя их на ходу, игра приобретает непредсказуемый характер. То же и с историей. Если правила ее написания составляют сами историки, изменяя их от эпохи к эпохе, историка оказывается “за горизонтом предсказуемости”. Да и вообще, лишается презумпции осмысленности. Парадокс историки, очевидно, в том, что она “живет на границах” исторического сознания, в превосхождении себя, в выходе за собственные пределы.

Мысленно раскрыв любую — написанную или воображаемую — антологию по “философии истории”, замечаем мельчайшие прелюбопытнейшие детали: постепенные смещения акцентов, периодические переоценки ценностей, чередования исторических парадигм, тончайшие перефокусировки значений, смены смысловых ориентиров и доминант. За последние столетия историка не раз перерождалась, переодевалась и существенно изменяла правила своей “игры в историю”.

Сколь оптимистично звучали названия и темы сочинений по вопросам философии истории Нового времени! Историческое развитие представлялось целе- и законосообразным. В истории все еще находилось место Разуму, Божественному Провидению, Абсолютному Духу, Естественному Порядку: “Основания новой науки об общей природе наций” (Джамбатиста Вико), “Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума” (Жан Антуан Кондорсе), “Идеи к философии истории человечества” (Иоганн Готфрид Гердер), “Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане” (Иммануил Кант), “Философия истории” (Георг Вильгельм Фридрих Гегель), “Основные законы социальной динамики, или общая теория естественного про-

гресса человечества” (Огюст Конт), “Социальные законы” (Вильгельм Вундт), “Законы мировой истории” (Курт Брейзиг).

Впрочем, по мере разочарования в иллюзиях прогресса названия и сюжеты становились все более и более пессимистичными. С середины XIX века все чаще звучали тревога и сомнения: “О пользе и вреде истории для жизни” (Фридрих Ницше), “Закат Европы” (Освальд Шпенглер). История все чаще начинала казаться бесцельной и бессмысленной, об этом можно судить хотя бы по тому, насколько напряженными становились поиски ее цели и смысла: “Смысл и назначение истории” (Карл Ясперс), “Смысл истории” (Николай Бердяев), “Постижение истории” (Арнольд Тойнби), “Смысловые толкования истории” (Макс Мюллер). Один из разделов последней работы назывался достаточно красноречиво: “Угроза смыслу и спасение смысла”. Впрочем, удалось ли этот пресловутый смысл спасти?

Вряд ли. Во второй половине XX века история, кажется, вообще лишается оснований. Под нею исчезает сколько-нибудь твердая метафизическая почва, над нею — Авторитет: “О субъекте истории. Краткие замечания по поводу ложных альтернатив” (Юрген Хабермас), “Эра смещения власти” (Олвин Тоффлер), “Куда ведет дорога?” (Адам Шафф), “Конец истории?” (Френсис Фукуяма). Опрокидываются иерархии, разверзается бездна непонимания, “субъект” и “объект” исторического сознания вначале осторожно скользят, затем набирают скорость и, наконец, кувырком катятся в сознательную пропасть: от логоцентризма к смысловому хаосу.

4.

Попробуем задаться “безответными” (но, должно быть, все же небессмысленными) вопросами: Какими бы могли быть сегодняшние “лукиановские рецепты” начинающему историку? Какой бы стала *нынешняя историка*? Каково оно, “чувство истории” рубежа второго и третьего тысячелетий? Среди основных черт “исторического видения” западноевропейской культуры конца XX века все явственнее проступают следующие:

◊ Принимаемый как очевидное тезис о *неточности, нестрогости исторического знания* (пожалуй, наиболее изящно сформулированный в общем виде М.Хайдеггером в работе “Время картины мира”. Все гуманитарные науки, да и все науки о живом существе, — полагал философ, — именно чтобы остаться строгими, должны быть непременно неточными: “неточность гуманитарных наук не порок, а лишь исполнение важнейшего для это-

го рода исследований требования”.⁹ Сегодня стало очевидным: требовать от истории точности, строгости, однозначности — добиваться от нее невозможного. “Метод общей историографии скорее метахудожественный” — полагает Г.Померанц, и с ним сложно поспорить. Ибо и в самом деле история имеет дело с созданием “картины, модели, основанной на интуитивном проникновении в хаос фактов... Поэты чувствуют историю лучше историков-идеологов”¹⁰).

◊ Еще одна характерная особенность — замена “временного” восприятия исторического процесса “пространственным” переживанием истории как единого синхронистического акта. Историческое время “опространствуется”. В “логике одновременности”¹¹ история более не вытягивается в линию. То, что когда-то В.Дильтей называл “успокоением исторической совести”, т.е. “упрощенное нанизывание исторического процесса на единый шнур однозначного развития, ... ставшего искусственной логической пряжей, созданной из головы, парящей в воздухе и лишенной почвы”¹², уступает место не-хронологическому, “ландшафтному” видению прошлого, где в едином мыслительном пространстве сосуществуют Заратустра и Конфуций, Гаутама Сакьямуни и Франциск Ассизский, Басе и Манделштам, Эххарт и Кьеркегор, Эвклид и Лобачевский, даосы, исихасты, суфии, бахаисты, кто угодно. Новое не отменяет старое, но занимает место “рядом” с ним.

◊ Разочарование в линейных и “прогрессивистских” моделях, “однозначных теориях” исторического процесса закономерно приводит к идее *многомерности* и *многослойности* космоса истории. Пресловутый “диалог”, со времен М.Бахтина и М.Бубера ставший знаменем нашего времени, изменил “чувство истории”: современный человек с легкостью беседует и с древним греком, и с буддистом, и с каннибалом, всех принимая всерьез, входя и вникая в живую практику каждой культуры, во всем отыскивая смысл и всякой предоставляя право на собственный голос. Здесь нет прогресса, и все ступени уравниваются в ценности. Такую историю все чаще сравнивают то с “полилогом”, то с “палимпсестом”. Отсюда — необычайная свобода, *смысловой полифонизм* исторических текстов, чреватые при утрате чувства меры вырождаться, увы, в обычный “радикальный эклектизм”.

◊ Отказ от притязаний на постижение объективной научной истины исторического познания имеет важное последствие: в истории все реже ищут проявления абстрактных, отвлеченных схем, вечных законов.¹³ Стало едва ли не общим местом рассуждение о том, что все так называемые “законы”, приписываемые истории (вроде тех, что были измышлены марксизмом или

фрейдиизмом) в конечном счете приводили всего лишь к схематизации, опрощению, удушливому редукционизму. Отказ от претензий на “всеохватность” построенных глобальных картин мировой истории приводит к *локализации и детализации* исторического знания, приоритету “частного” исторического взгляда над “общим”. Очевидно, не случайно высказывается все больше сомнений относительно целесообразности труда по составлению “всеобщих историй мира”, которым предпочитается плюрализм и множественность частных исторических концепций.

◊ Логизирующий взлет в “эмпирии” уступает место погружению в хаос океана “эмпирии”. Попытка моделирования “каркаса” истории — интересу к одевающей его “ткани”. Это не что иное как замена “генерализующего” подхода, ищущего в истории проявления неких закономерностей — “индивидуализирующим” подходом, обращенным к сфере единичного и случайного факта. По традиции, ведущей от Г.Риккерта, генерализующий и индивидуализирующий методы противопоставляются друг другу как объективизирующий — субъективизирующему.¹⁴ Может, поэтому все чаще предпочтение отдается *субъективно окрашенным персональным интерпретациям*. Отсюда — существенный перенос акцентов: от знания истории к ее пониманию. В фокусе исторического сознания оказывается целый комплекс проблем *герменевтического толка*.

◊ *Энтропия смысла*. История в целом, увы, лишилась высшего смысла, пытаясь привыкнуть жить без Бога, без идеалов Прогресса, Разума, Освобождения, самодвижения абсолютного Духа. Видимо, не только в науке, не только в культуре, но и в историографии нашло своеобразное преломление “второе правило термодинамики”, этот, по замечанию А.Бергсона, самый “метафизический” из всех законов физики. Истории в XX столетии отказывают не только в высшем, но и в каком бы то ни было смысле, в открытую говорят о распаде “идеи истории”, бессмысленности исторического процесса... Смысл истории — вне истории? Или — в ней самой? В чем он? Существует ли вообще? И в рамках отдельных органических циклов, культурно-исторических типов, и в общей динамике их смены отсутствуют цели, историческое развитие видится пугающе ненаправленным, хаотичным и даже абсурдным. Речь идет не о временной и случайной, но тотальной, онтологической, “сущностной” непроясненности общих ориентиров и целей истории.

◊ В историческом самосознании сосуществует бесчисленное множество то ли взаимно исключających, то ли взаимно дополняющих друг друга метафор “путей истории”. Ни одной из них не отдается предпочтения. Так, ри-

суются тысячи *траекторий*: круг, маятник, веер, зигзаги, синусоиды, разнонаправленные векторы, ступени, цикличность, всплески и затухания, взрывы и спады, одновременность, вечное возвращение, прямая с разрывами, кривая бесконечного падения, запутанный лабиринт, расходящиеся тропы, перекрестки, спирали и, конечно же, якобы универсальные и все объясняющие “триады” (третью стадию которой переживают все культуры, а четвертая почему-то каждый раз не наступает, ломая красивую схему и вызывая чувство разочарования, нигилистическо-деконструктивную волну сомнений. В этом смысле, триада не многим отличается от цикла: с ее третьей ступени приходится прыгать на первую и начинать историю сначала).

◊ История утрачивает иллюзию *непрерывности*. Сознание, обращенное к прошлому, неизбежно прибегает к смысловой *фрагментации* истории как наиболее адекватному способу ее истолкования. При этом образ *континуитета* “исторического процесса” сменяется *дискретным: точно-фрагментарным видением*. Словно бы из ткани бесконечного становления “ножницами сознания”¹⁵ культура конца XX столетия вырезает всякий раз новые конфигурации, послушно скользя по траектории из ряда опорных смысловых точек. Только траектории эти непредсказуемы. И потому мгновения, выхваченные из непрерывного перехода, искусственно вычлененные из гетерогенного потока, не образуют общей картины, но так и остаются россыпью случайных точек.

◊ Переход от исторического видения Нового времени к постсовременному можно условно назвать заменой “*истории*” — “*памятью*”. История относится только к прошлому, а память всегда только в настоящем — так обосновывал свою концепцию французский историк Пьер Нора.¹⁶ Случайно ли, что его фундаментальное четырехтомное историческое сочинение именуется “Места памяти”? Память — проекция вчера в сегодня, подвижный и неустойчивый слепок прошлого в настоящем. Между реально прожитой и вспомянутой историей — существенная разница: последняя может искажать первую. (Вспоминая прошлое, мы можем нечто опустить, нечто призабыть, кое-где прибавить лишнего, присочинить подробности и проч. То же и с исторической памятью человечества. Отлитая в исторические трактаты, монографии, учебники, своды, при всей видимости исторической достоверности и правды, историческая “память” — всего лишь отблеск реально пережитой истории, переименованной, переосмысленной, перетолкованной, отчасти призабытой, отчасти присочиненной).

Стоит ли продолжать перечисления, каждое из которых вырастает из

предыдущего и — возрастает в следующее? Выделенные черты с легкостью перетекают друг в друга. Очевидно, в середине XIX в. появляется, к рубежу XIX—XX вв. распространяется, а к концу XX в. получает оформление новая концепция истории. Речь идет о существенной переориентации исторического сознания, которую в целом можно охарактеризовать как поиск новых метафизических оснований “*неисторической истории*” и попытку моделирования “*метаисторического*” ландшафта самосознания. Перед нами — взгляд в прошлое, которое можно назвать одним словом: “*пост-история*”. Соответственно, правила и рецепты написания пост-истории, видимо следовало бы назвать “*пост-историкой*”.

5.

Пост-историка — удивительное искусство правил мистификации, беспрестанного перекраивания, переименования исторических фактов в познающем сознании. Это не столько “*философия истории*”, сколько “*герменевтика истории*”: искусство исторического понимания. Это не столько “*знание прошлого*”, сколько искусство мнемоники: историческая память как система зеркал, направленных в прошлое, высвечивает всякий раз лишь то, что представляется близким и понятным, все новые фрагменты, новые факты и новые их комбинации, при этом иные прячутся в тень. Но не навечно: придут новые историки с новым “*видением*”, и система “*живых*” зеркал откроет иной исторический ракурс: то, что было в тени, станет фокусом, а высветленные фрагменты вновь погрузятся в забвение.

Пост-историка — торжество свободных интерпретаций прошлого, нечто вроде непрерывно меняющегося в руках историка пластилинового изваяния — фактологический каркас все тот же, да облик изменчив, пластичен, гибок. Еще более чем сто лет назад историю стали сравнивать с калейдоскопом, утверждая “*метафизический*” (по сути, метаисторический) взгляд на историю, которая лишена линейности и каких-либо смысловых ориентиров и представляет собой бесконечные орнаментальные вариации на одну и ту же тему: “*История подобна калейдоскопу, который при каждом повороте показывает новые конфигурации, тогда как перед нашими глазами собственно остается все одно и то же*”.¹⁷

В поисках метафорического образа нового способа понимания монтажа прошлого и настоящего в пост-историке небезынтересно обратиться и к другим к поэтическим и философским трактовкам темы *метафизики ос-*

тановленного мгновения. Это образ “стояния времени” — истории, вдруг открывающейся мгновенно, во всей “глоссолатии фактов” и удивительности “синхронизма разорванных веками событий” (О.Э.Мандельштам. Разговор о Данте). Это дерзкая метафора “поперечника времени”, т.е. той его поперечной оси, в которой время, текущее перпендикулярно историческому, “дано сразу и все” (С.Д.Кржижановский. Воспоминания о будущем). Это отчасти перекликающееся с этим понятие “толщины во времени” — того как бы накопленного, наращенного временного слоя, которым обладает каждая точка пространства (П.А.Флоренский. Время и пространство). Это и метафора “вертикальной временной оси” остановленного поэтического мгновения, в котором время течет не горизонтально, но устремляется ввысь или погружается в глубину (Г.Башляр. Мгновение поэтическое и мгновение метафизическое).

Не на подобных ли скрепах вроде “поперечников”, “толщин”, “глубин” исторического времени основано “чувство пост-истории”, где прошлые и настоящие состояния могут оказаться данными сразу? За подобными метафорами “вневременной одновременности” проглядывает примерно одна и та же схема переживания: если мысленно остановить течение исторического (горизонтального, вытянутого вдоль хронологической нити) времени, оно открывает новую, своего рода “метафизическую перспективу”.¹⁸

Пост-история стала чрезмерно памятьливой: историческое время остановило в ней свое течение и тысячи исторических эпох и событий как будто бы выплеснулись одновременно в сознание “сегодня”. Когда-то философы мудро предупреждали, что “избыток истории” вредит жизни¹⁹, не раз весьма образно и поэтично доказывая, что погруженность в прошлое, чрезмерная памятьливость культуры — своего рода яд, болезнь “затопления историей”, от которой спасает лишь способность забывать.

И в самом деле, наверное, так. И философы правы: история — тяжелая ноша, громадная, все увеличивающаяся тяжесть, цепь, которая навсегда приковывает человека к прошлому: “как бы далеко и как бы быстро он ни бежал, цепь бежит вместе с ним”.²⁰ Она пригибает вниз, тормозит движение, и надежда спастись от нее — только лишь в способности к забвению: в бегстве в искусство и религию, в выходе во неисторическое и надисторическое, в той мудрости, которая твердит во все времена приблизительно следующее: “прошлое и настоящее — одно и то же, именно нечто, при всем видимом разнообразии типически одинаковое и, как постоянное повторение непреходящих типов, представляющее собой неподвижный об-

раз неизменной ценности и вечно одинакового значения”.²¹

Пост-история — такое состояние исторического сознания, когда оно, двигаясь “вперед с лицом, повернутым назад” и впадая в противоречие крайностей, с одной стороны, отравлено ядом памяти, заражено неизлечимой болезнью пассеизма, а с другой, сознавая всю пагубность прикованности к прошлому, грезит о забвении, мечтает забыть, забыться, уйти в метаисторию. Резонно вынося смысл истории за ее пределы, исследователи двух последних столетий, кажется, все в той или иной степени заражены этой идеей: “освободиться от истории, ускользнуть от нее во вневременное”.²²

Один из разделов книги К.Ясперса “Смысл и назначение истории” именуется “Преодоление истории”. Создается впечатление, что и “калейдоскоп” А.Шопенгауэра, и “надисторическое” Ф.Ницше, и “прафеномены” О.Шпенглера, и “вневременное единство истории” К.Ясперса — шаг за шагом сходятся именно “преодолеть историю”, выйти в метаисторический поперечник времен, приблизить “пост-историю”. И вот, похоже, она наступила.

6.

Конечно, историческое и неисторическое сознание немислимы друг без друга, они живут во взаимоотражениях и взаимоотталкиваниях, подобно вечному поединку памяти и забвения, Мнемозины и Леты. Эпохи “исторического” и “неисторического” понимания прошлого вообще, видимо, чередуются, повинувая маятниковым гармоническим колебаниям. И если Просвещение и, шире, Новое время, т.е., в широком смысле, “современность” являли один из полюсов: “историческое”, то “постсовременная” эпоха оказалась на противоположном полюсе. На новом витке спирали (а, может, на новом повороте непредсказуемого зигзага) она открыла очередной неисторический, точнее, пост-исторический взгляд в прошлое, воспела всю его прелесть и безысходность.

Следует заметить, что такой “пост-исторический” взгляд менее всего затронул собственно академическую историю и историографию. Он рождался по преимуществу на периферии профессионально-исторического знания: в постклассической философии “полилога” и “хаосмоса ценностей”, в ироничных “играх в историю” постмодернистского кинематографа и театра, в излюбленных архитекторами 1970—1980-х гг. историцистских цитатах и аллюзиях, и, конечно же, в литературе второй половины столетия, изобилующей запутанными, обесмысливающими идею исторического развития метафорами вроде “Вавилонской библиотеки” Х.Л.Борхеса, “ризомы” Ж.Де-

леза и Ф.Гуаттари — бесконечного лабиринта без выхода и входа. История как летопись и хроника здесь окончательно уступает место пост-истории как энциклопедии или словарю, в духе М.Павича.

“История” читается последовательно, “пост-история” — выборочно и вразброс. “История” образует вектор или древо, “пост-история” исходит из предположения, что история в лучшем случае циклична и живет в вечном возвращении, а в худшем — вообще не движется. “История” обладает Целостностью, “пост-история” рассыпана в калейдоскоп, пестрый коллаж фрагментов. В “истории” все непрерывно, поступательно, последовательно и взаимосвязано, в “пост-истории” — дискретно, разорвано, случайно. В первой есть место традиции, преемственности, “кумулятивности”, накоплению, во второй — причинные связи разрываются, делая “до” и “после” обратимыми.

В принципе, эти цепи противопоставлений можно длить едва ли не до бесконечности (подобно тому, как строит свои нескончаемые оппозиции признаков модернизма и постмодернизма И.Хассан). “История” имеет смысл и цель, “пост-история” — бессцельное и бессмысленное блуждание в лабиринте. “История” логоцентрична, в то время как центонную ткань “пост-истории” образуют алогизмы, смысловые зазоры и лакуны, мыслительные швы, стыки, латки, лоскуты, дыры, подмены et cetera. “История” создает успокоительную модель вселенной, а “пост-история”, будучи раздираема на части между нигилизмом всеобщего отрицания и апокалиптическими предчувствиями, угрожает сознанию энтропией смысла и подводит к порогу абсурда.

При всей условности этой (как, впрочем, и любой иной) бинарной схемы, она отчасти дает представление о Рыцаре Печального Образа — историческом мироощущении той эпохи, которую именуют то постсовременной, то постклассической, то постструктуралистской, то постиндустриальной, пострелигиозной, то постатеистической, словом, эпохой “Пост”. Пост-история, как и сама жизнь, заболевает всеми слишком хорошо и печально известными болезнями “духа нынешнего времени”. Среди них — метафизическая бездомность и чувство “утока сакрального”, зыбкость, неукорененность, лишенность почвы и оснований, заигрывание с Пустотой и Отсутствием, скольжение к Ничто. Видимо, утрата смысла истории — часть более общего явления, обычно именуемого “экзистенциальной пустотой” (existential vacuum) и выражающегося в потере смысла жизни, общей духовной растерянности и размытости системы ценностей эпохи “Пост”.

“Природа не терпит пустоты, человек — хаоса. Наше сознание устроено таким образом, что мы воспринимаем окружающее только тогда, когда оно укладывается в какую-нибудь историю. Истории могут меняться, устаревать, умирать, возрождаться, они могут сосуществовать, соперничать,

враждовать, высмеивать друг друга. Невозможно только одно: жить без “истории” вовсе, ибо из нее и состоит наша действительность; реальность — это история, которую мы себе рассказываем. Смена эпох — это смена “историй”²³.

Это слова из написанной в жанре “лирической культурологии” книги эссе об “искусстве настоящего времени” А.Гениса. Ход дальнейших рассуждений автора примерно таков: в постклассической, постиндустриальной парадигме “история” утратила смысл, оказалась “за горизонтом предсказуемости”, впустила в себя хаос: “Нас выпихнули на волю, где может произойти все что угодно”.²⁴ Новое видится лишь в “сворачивании исторического вектора в кольцо”: будущее — в прошлом, в возвращении к началам, к бесписьменному, невербальному, тотальному, синкретическому, ритуальному, мистическому, литургическому сознанию. Хотелось бы согласиться, да отчего-то не выходит.

Завершив историю, — как предсказывала одна из популярных, шумевших концепций, — люди, хотя бы из непереносимой скуки, начнут ее снова.²⁵ Но беда в том, что в “пост-исторической” перспективе история вообще не может достичь завершенности потому что, будучи завершена “сама в себе”, в историческом времени, она требует завершения и в метаисторическом (“поперечном”, вневременном). Однако, если признать, что решение “проблемы истории” лежит в плоскости метаистории, то, похоже, придется согласиться и с тем, что проблема эта не только сегодня представляется неразрешимой, но и грозит остаться таковой в принципе.

Пост-история зависает над океаном прошлого в странном состоянии “завершенности незавершенности”: о таком безысходном состоянии можно прочесть в любой книге эпохи “Пост”. Раскроем наугад какую-нибудь из них и перелистаем:

◇ “Прошлое — туманно, настоящее — сомнительно, будущее — опасно...

◇ Ощущение неопределенности перед лицом и прошлого, и настоящего, и будущего. Без пафоса Нового времени. Без авторитетной идеи модерна. Без трезвой идеи “возвращения к истокам”...

◇ Метаисторическое состояние...

◇ Любой еще один наивный эксперимент был бы уже обречен напоминать более или менее пройденное: “новизна отсутствия новизны”...

◇ Мы везде и нигде, мы божжи мировой истории и культуры...

◇ Все голоса зазвучали синхронически. “Нам одинаково дороги все речи”...

◇ Позади нас (или, по О.Мандельштаму, впереди!) Сократ, Августин, Декарт, Кант, экзистенциалисты. После-современный человек не повторяет

их. Он живет очень странным настоящим: после себя, до себя...

◊ Ощущение парения в невесомости..."²⁶

В принятом условном триадическом членении "*предыстория — история — пост-история*" последнее звено вроде бы возвращает к первому: пост-историческое сознание стремится к изначальному состоянию, сходному с природным, лишенному историчности и личного смысла.²⁷ Но все же иллюзии "возвращения", скорее всего, обманчивы. В одну и ту же "историю" нельзя войти дважды.

Мы не в состоянии вернуться ни к архаическому синкретизму — нерасчлененности "*предыстории*", ни к античному космосу мифопоэтики истории, ни к теологической, ни к нововременной концепции: ибо "*в ходе истории*" мы стали другими. (Почти как в детском стихотворении: "Во время пути собака могла подрасти" — человечество, "*войдя*" в историю одним, должно "*выйти*" из истории иным; "во время пути" происходит загадочная метаморфоза, не позволяющая вернуться к исходной точке начала так, будто бы в середине пути находится Зеркало: устье "реки истории" не совпадает с ее истоком, и эту реку вспять не поворотить).

Пост-история сделала нас стариками, утратившими иллюзии, оставившими позади наивность и мечтательность, и главное — не способными более удивляться. А ведь с удивления начинается любое философствование, удивление — начало любой веры. В этом смысле, стар не тот, кто прожил много, но кто утратил способность удивляться. "Старость" сознания не есть "впадение в детство", несмотря на известное типологическое сходство преклонного возраста и ребячества. Историческое время необратимо. У ребенка в будущем — перспектива жизни, у старика — перспектива смерти. У детства человечества впереди — "история", у "пост-истории" (которая только тем и занята, что вспоминает прошлое) впереди — разве что, перспектива забвения.

Это не значит, что вновь какой-нибудь Цинь Ши Хуанди или очередной фюрер издаст эдикт о сожжении всех исторических книг. Нет. Фигурально выражаясь, "книги останутся, и их будет слишком много, и именно потому их перестанут читать". В технократической, самоудовлетворенной, ориентированной на идеалы благополучия и материальной выгоды цивилизации нет "исторической жажды" самопознания: она не нуждается в прошлом, как, впрочем, и в будущем, она живет "в настоящем". *Перспектива самозабвения* — манкуртства — утешительная и, вместе с тем, невероятно трагичная перспектива пост-истории.

Но вернемся к Лукиану. Если мы сегодня откроем его работу “Как следует писать историю” и прочтем ее “наоборот”, выворачивая наизнанку смысл всех старательно подобранных греческим мыслителем максим, получим сегодняшнее видение: пост-историю. Если Лукиан рекомендовал всячески скрывать “авторское видение” историка, то нынешний Анти-Лукиан, напротив, ценит лично окрашенный, персональный субъективный взгляд в прошлое. Если Лукиан призывал не отвлекаться на детали и уделять побольше внимания монументальным историческим сценам, нынешний Анти-Лукиан придает особую значимость единичному факту, эпизоду, случаю. То, о чем Лукиан требовал “упоминать лишь вскользь”, сегодня представляет особую ценность: ценность однократного, неповторимого исторического момента, ведь во всеядной пост-истории нет делений на главное и второстепенное, в ней нет ничего неважного. То, с чего Лукиан призывал начинать сочинение — с главного вопроса, — сегодня обычно завершает историческое размышление (часто оканчивающееся многоточием, вопросительным знаком и сознательно открытое диалогом “большого времени”).

— Цель истории — полезное [а не изящное] ... ее главная цель — обнаружение истины, — полагал Лукиан.

— Разве у истории есть цель? Да и что такое “историческая истина”? Все это очень сомнительно, — пожмет плечами Анти-Лукиан.

— Историю не следует сочинять изящно, — утверждал греческий сатирик.

— Отчего бы и нет? — возразит Анти-Лукиан.

— История не выносит лжи, — уверял древний грек.

— Ой ли... Еще как выносит. Сколько лживых и фантазийных исторических сочинений, сколько псевдоисторий написало человечество за последние четыре тысячи лет, — резонно усомнится Анти-Лукиан.

— Следует четко отделять историю от поэзии, — категорично судил Лукиан. — В поэзии возможна полная свобода вне всяких запретов, ее единственный закон — воля поэта. В истории же ни в коем случае не должно быть поэтических вольностей, украшений и преувеличений.

— Да что Вы, — удивится Анти-Лукиан и печально улыбнется. — Разве история — просто перечень событий? Мне лично по душе не какой-то там статистический свод сухих фактов, а высокая поэзия истории.

Они не поймут друг друга, потому что пост-историка — смысловая инверсия историка. История из катафатической превращается в апофатическую, из объяснительной и повествовательной — в вопросительную. Однако несмотря на это XX век осмеливается утверждать: “заниматься историей — значит

погружаться в хаос и все же сохранять веру в порядок и смысл”.⁸ Это — важнейшая максима пост-историки. Как и любая иная вера, вера в порядок и смысл истории — вне логики, вне рации. Не требуя оправданий и “онтологических доказательств”, она часто опирается “всего лишь” на тертуллианово *credo, quia absurdum* — “верую, ибо нелепо”. Эта вера хрупка, она граничит с сомнением и живет на границе понимаемого и непонимаемого. Эта вера никогда “не есть”, но непрерывно “становится”. Она — сознательный “промежуток”, мыслительный “расцеп”, логический “переход”: от погружения в исторический хаос - к признанию за свершившейся историей порядка и смысла.

Источники и литература

¹ Эко У. Маятник Фуко. — К.: Фита, 1995. — С.123.

² Цит. по: *Античные мыслители об искусстве: Сб. высказываний древнегреческих философов и писателей об искусстве / Сост. В.Ф.Асмус.* — М.: Изогиз, 1937. — С.234.

³ См.: *Лукиан. Как следует писать историю / Пер. С.Э.Радлова // Указ. соч.* — С.242.

⁴ *Лукиан. Избранное.* — М.: Гослитиздат, 1962. — С.402—426.

⁵ Любопытно, что славянское слово “искусство” по смыслу близко искусу, искушению, обману. В конечном счете, искусство как “со-бытие бытия”, как создание мира, “параллельного” подлинному, этот “нас возвышающий обман”, по сути своей — подмена “настоящей” действительности ее “искусственным” подобием (а если настоящая действительность только кажется таковой, получаем искусство как двойной обман: платонову “тень тени”, отражение отражения, кажимость кажимости). Искусство истории в этом смысле — не исключение. Его обман — подмена подлинных исторических событий теми, что были искусственно отобраны, зафиксированы и классифицированы, уложены в летописи и хроники, опиты в формы исторических трактатов.

⁶ Цит. по: *Шнем Г.Г. История как проблема логики. Критические и методологические исследования.* - Ч.1. Материалы. М., 1916. — С.34.

⁷ *Кареев Н. Теория исторического значения.* СПб., 1913; *Кареев Н. Историология.* СПб., 1915; *Винтер Р.Ю. Очерки теории исторического познания.* М., 1911. Сжатый очерк этих исследований см., например: *Шнем Г.Г. Цит. соч.* С.31—38.

⁸ *Gervinus. Grundzuge der Historik.* Lpz., 1868; *Riess L. Historik. Ein Organon geschichtlichen Denkens und Forschens.* Berlin, 1912.

⁹ Точность — функция правильных операций с однозначными терминами, — пишет, комментируя эти слова, Г.С.Померанц. — Чем однозначнее (банальнее) термин, тем мысль точнее. Об истории, как и о человеке, о существе, обладающем свободой воли, нельзя мыслить точно. См.: *Померанц Г.С. Выход из транса.* - М.: Юрист, 1995. — С.363.

¹⁰ *Померанц Г.С. Указ. соч.* — С.364.

¹¹ Об этом особом — “сгущенном”, “сверхуплотненном” восприятии истории “со-пряжении” прошлых культур в едином мигновении — написано множество прекрасных строк, к примеру вот эти: “История искусства - драма, где все Лица одновременны,

напряженно сопрягают прошлое (во всей его самобытности) и время настоящее — в средоточии *этого* мгновения. В искусстве “раньше” и “позже” соотносительны, одновременно, предшествуют друг другу, наконец, это есть корни друг друга. Софокл “не снят” Шекспиром. Пикассо не умалил Рембрандта. ... То же — в сфере философии и нравственности. Платон и Бердяев сосуществуют в едином не-евклидовом пространстве, где обратимость “корней” и “кроны”, “до” и “после” образует особый тип целостности ... уплотненности”. См. *Библиер В.С.* От наукоучения — к логике культуры: два философских введения в двадцать первый век. — М.: Политиздат, 1990. — С.281—288.

¹² Цит. по: *Дворжак М.* Очерки по искусству средневековья / Пер. А.А. и В.С. Сидоровых. — М.—Л.: Изогиз, 1934. — С.41.

¹³ Возьмем характерную точку зрения: “Нет никакого единого закона, управляющего историей. Есть множество законов, противоречащих друг другу. И если Провидение как-то ведет нас, то оно действует по ту сторону логики ... Нет единой необходимости. Каждый вектор истории обладает своей логикой; векторы, тенденции сталкиваются, и все время происходит то, что юристы называют “конфликт законов”: один разрешает, даже требует, другой запрещает”. — *Памеранц Г.С.* Указ соч. С.364.

¹⁴ Согласно Г.Риккерт, первые считаются более приемлемыми для естественно-научного знания, вторые — для наук о культуре: “Естествознание генерализует... Я противопоставляю генерализующему методу естествознания индивидуализирующий метод истории, как метод отнесения к ценности”. См.: *Риккерт Г.* Науки о природе и науки о культуре / Пер. со 2-го нем. изд. под ред. С.Гессена. — СПб.: Книгоизд. “Образование”, 1911. — С.81, 92.

¹⁵ Метафора “ножниц” восприятия и сознания достаточно распространена. Но, пожалуй, одну из самых ярких трактовок она получила еще в прошлом веке, в “Материи и памяти” А.Бергсона. По его мысли, задача “ножниц” проста: “делать “вырезы” из бесконечной длительности. А результатом такого “фрагментирования” бесконечной материи становится “вырезка из протяженной непрерывности ... восприятием, ножницы которого следуют пунктиру линий, определяющих возможный захват действия”. — Цит. по: *Бергсон А.* Длительность и одновременность / Пер. с фр. А.А.Франковского. — Пг.: Academia, 1923. — С.35.

¹⁶ *Les lieux de memoire / Sous la direction de P.Nora.* V.1. — Paris: Gallimard, 1984. — 674 p.

¹⁷ *Шопенгауэр А.* Афоризмы и максимы. Мысли / Пер. Ф.В.Черниговца. Т.2. СПб., 1892. — С.118.

¹⁸ Понятие “метафизической перспективы” обездвиженного или не-мерного времени великолепно раскрывает Гастон Башляр (“Instant poetique et instant metaphysique”, 1939): “Поэзия — *остановленная метафизика* ... во всяком истинном стихотворении присутствует *обездвиженное время, время не-мерное*, которое мы бы назвали вертикальным, дабы отличить его от времени обычного, текущего горизонтально, как река или ветер ... Цель — это вертикальность, глубина или высота; это остановленное мгновение, в котором одновременности, упорядочиваясь, убеждают, что поэтическое мгновение обладает *метафизической перспективой*”. См.: *Башляр Г.* Новый рационализм / Пер. с фр. А.Ф.Зотова. — М.: Прогресс, 1987. — С.347—348.

¹⁹ Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни // Соч. в 2 т. Т.2. — М.: Мысль, 1990. — С.158-230. (Пер. с нем. Я.Бермана).

²⁰ Там же. С.161.

²¹ Там же. С.167.

²² Ясперс К. Смысл и назначение истории / Пер. с нем. — М.: Политиздат, 1991. — С.276.

²³ Генис А. Вавилонская башня. Искусство настоящего времени / Эссе. — М.: Независимая газета, 1997. — С.149.

²⁴ Там же. С.154.

²⁵ Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. — 1990. — № 3. — С.134—155. (Пер. с япон. А.А.Яковлева).

²⁶ Баткин Л.М. О постмодернизме и “постмодернизме” // Тридцать третья буква. Заметки читателя на полях стихов Иосифа Бродского. — М.: РГГУ, 1997. — С.87—98.

²⁷ См., например: Мюллер М. Смысловые толкования истории // Философия истории: Антология. - М.: Аспект Пресс, 1995. — С.274—282. (Пер. с нем. С.В.Медведевой).

²⁸ Гессе Г. Игра в бисер // Гессе Г. Избранное: Сб. / Пер. с нем. — М.: Радуга, 1984. — С.191.